



Эсфирь Козлова Жизнь человеческая

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=638875
Эсфирь Козлова. Жизнь человеческая: Нордмедиздат; Санкт-Петербург; 2008
ISBN 978-5-98306-053-1

Аннотация

Эсфирь Евсеевна Козлова (Баренбаум) родилась в 1922 году. Ее детство прошло в городе Опочка Псковской области, отрочество – на Украине, в Кривом Роге. Будучи студенткой географического факультета Ленинградского университета, она пережила блокадную зиму 1941 – 1942 годов. После окончания университета работала инженером-гидрологом, много ездила с экспедициями по Советскому Союзу. Будучи уже на пенсии, написала несколько научных книг, касающихся процессов, происходящих в недрах Земли, и проблем нашей Вселенной.

Свои воспоминания она начала писать в 80-е годы прошлого века. Эти страницы позволяют нам, сегодняшним, окунуться в атмосферу 20-40-х годов XX века, а пристрастная хроника жизни равнодушного и жизнерадостного человека дает представление о людях того поколения и о той эпохе в целом.

Содержание

Часть I	4
Пролог	4
Глава 1	8
Глава 2	12
Глава 3	14
Глава 4	25
Глава 5	30
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Эсфирь Козлова

Жизнь человеческая

«Мне кажется, что со временем писатели вообще перестанут выдумывать художественные произведения. Писатели будут не сочинять, а только рассказывать то значительное или интересное, что им случилось наблюдать в жизни».

Л.Н. Толстой

Часть I

Детство

Пролог

*«И путешествие в Опочку,
И фортепьяно вечером».*

А.С. Пушкин «Признание»

Город Опочка, город моего детства – моя Отчизна, основан «в лета 6922 (1414 год). Псковичи поставили город на Опочке, над Великою рекою: начали делать за неделю до Покрова, а сделавши две недели весь». {Псковская первая летопись по списку Архивскому IV.} Основан он взамен разоренного литовцами, во главе с князем Витовтом Литовским, города Коложе.

В XIV–XVI столетиях Псков был оплотом Новгорода и всей Руси. Он принимал на себя удары со стороны внешних врагов: немцев, литовцев, поляков. Особенно доставалось Опочке, которая находилась на границе с Литовским (Лифляндским) княжеством, да и теперь находится примерно в пятидесяти километрах от границы с Латвией.

Быстрота постройки города объясняется тем, что посреди реки Великой возвышался остров, где была природная гора. Вокруг нижнего города создали канал, а землю относили на остров – Вал. Вал был обнесен деревянными стенами и бойницами и стал неприступной крепостью, отражавшей бесконечные нашествия вражеских полчищ. По углам вала стояли четыре башни, и были проезжие ворота. В городе было несколько улиц и переулков. Одна из улиц, называемая Петровской, доходила до тайника, который находился в котловине. Еще в 1912 году, как повествует Л.И. Софийский, {Софийский Л.И. Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем (1414 – 1914 гг.). Псков: Электр. типо-лит. Губ. Земства, 1912.} сохранились следы каменной лестницы, ведущей к тайнику. В годы нашего детства, в школьные годы следы исчезли. Сохранилась лишь легенда о том, что существовал подземный ход от Вала до нижнего города, который вел в церковь, что вход в него засыпан и вход в него – тайна. Как мы ни старались – обнаружить его не удалось.

На Валу было построено несколько церквей. Первая Спасская церковь – в 6922 (1414) году. В 1518 году опочецкий Вал выдержал осаду города князем Константином Острожским, который воевал в союзе с королем польским Жигмунтом (Сигизмундом) и римским – Максимилианом. Опочане приписали эту победу чуду, сотворенному Сергием Радонежским – чудотворцем. В честь этого события была воздвигнута церковь.

Набеги на Опочку многократно совершались в царствование Ивана Грозного (1547–1584) и продолжались еще в XVII веке. В 1634 году, в царствование Михаила Федоровича, поляки сожгли городской посад, но город не взяли.

Все постройки на Валу вместе с четырьмя церквями сгорели в пожаре 1774 года. В XVIII веке, после победы Петра I над шведами, Опочка уже утратила свое значение как крепость. Правда, еще при Екатерине II она числилась крепостью Лифляндского департамента, но с назначением Пскова губернским городом превратилась в уездный город, в котором было учреждено псковское наместничество.

С конца XVI столетия Опочка разделялась на два города – верхний, на Валу, и нижний, на берегах реки Великой, преимущественно по ее правой стороне. Пожаром были уничтожены не только все постройки на Валу, но и почти весь нижний город, так как здания в городе были в основном деревянными.

После пожара в нижнем городе на площади у реки был построен великолепный Спасо-Преображенский собор, освященный в 1790 году. При генерал-губернаторе графе Чернышеве на Соборной площади были построены два величественных здания. Один из корпусов, стоящий на север от собора, в 1912 году принадлежал Министерству внутренних дел совместно с Министерством финансов и юстиции. Забавно, что после революции 1917 года в этом здании ничто не изменилось, и в нашу бытность в двадцатых годах здесь находились Госбанк, сберкасса, суд и тюрьма. Второй корпус занимали военные гарнизоны (и в наше время тоже).

В 80-х годах XVIII столетия были разработаны рисунки гербов некоторых городов империи, в том числе и Опочки. Двойной герб имел в верхней части щита герб г. Пскова, а в нижней – герб собственно Опочки, который был представлен в виде пирамидальной кучи камня, называемого «опока». {Опока – плотная кремнистая порода, богатая кремнеземом, в ряде работ его называют известковым камнем.} Этот камень в изобилии находится на территории города и прилегающей местности. Отсюда, от этого слова «опока», возможно, и название города – Опочка. Дно реки Великой местами, как будто нарочно, вымощено плитами из этого камня. Сквозь прозрачные воды Великой, на перекате у подножья Вала, видны были эти каменные плиты еще и в дни моих посещений Опочки в 80-е годы прошлого столетия.

Река Великая, ширина которой в центре города составляла примерно 250 метров, делила город на две части: правобережную, где размещался основной город, и левобережную, называемую Завеличьем. Правый и левый берега соединялись деревянным мостом, построенным в конце XVIII века. Второй деревянный мост, а точнее – мостик, вел на Вал.

Славилась Опочка своими ярмарками, которые застала и я в своем детстве и которые постараюсь описать в следующей главе. На Завеличье против моста находится Завеликая улица, доходящая до Конной площади, на которой располагались деревянные торговые балаганы. И в наши дни, по крайней мере в конце прошлого века, эта площадь представляла собой рынок, правда, уже утративший свое богатство. Несколько бабок продавали там выращенные ими овощи и яблоки. На углу Кавказской улицы были промтоварный магазин и только одно каменное здание, уцелевшее, вероятно, еще от прошлых веков.

От моста на Завеличье вправо вдоль берега реки идет улица Набережная. На этой улице наша семья жила с 1927 по 1936 год. За улицей начиналась холмистая местность, где в 1878 году поселились сосланные с Кавказа пленные горцы. Образовавшаяся там улица, по постановлению Городской Думы начала XX века, так и была названа – Кавказской. В летнее время горцы жили здесь в палатках.

Очевидец записал: «2 февраля 1878 года в четыре часа вечера за конно-почтовой станцией собралось очень много публики... в ожидании прибывающих с Кавказа пленных черкес, в числе 270 семей... Была чудная погода: прекрасный зимний день с небольшим морозцем. Вот показался от г. Острова большой транспорт странных по своим костюмам

пассажиры: они были одеты в шубы с длинными до пят рукавами и высоких мохнатых шапках; среди них были старики, молодые и дети, мужчины и женщины. Они были привезены на крестьянских подводах в дровнях осыпанные снегом.

Они пробыли в городе около трех лет и вели себя очень хорошо. Между ними были очень хорошие мастера серебряного с чернью производства. Очень многие умирали от климата и скуки по родине... немногие вернулись домой». Среди этих горцев были и предки Расула Гамзатова – поэта Дагестана.

Почтовый тракт между Псковом и Опочкой был учрежден в 1772 году. Здание Опочечкой почтовой станции построено в 1854 году. До 1912 года между Опочкой и Островом ходил дилижанс, а с 1910 года было введено автомобильное сообщение и организовано автомобильное акционерное общество. Появившаяся железная дорога проходила на Варшаву и Петербург через Остров. В наше время железная дорога проходила через Опочку, поэтому у нас в те годы в Опочке было много дачников из Ленинграда.

В Опочке бытовала легенда о церкви на Городище, на которую ссылается в своей книге и Л. И. Софийский. На месте, где якобы до разорения ее в 1406 году Витовтом Литовским был город Коложе, «имеется глубокая яма, где, по всей вероятности, в старину была церковь, и где несколько лет тому назад крестьяне нашли небольшой деревянный крест.

Относительно этого места у населения существует легенда, что когда-то тут стояла церковь, но во время нашествия врагов – противников христианской веры – она ушла под землю...»

И во времена моего детства была жива эта легенда. Есть, мол, на Валу место, где под землю ушла когда-то церковь вместе с молящимися, и если приложить ухо к земле, то можно услышать крики и стоны заживо погребенных. Мы верили в это и старались услышать. И что-то, казалось, слышали. Возможно, это был шум падающей воды со стороны запруды у лесопильного завода. Было любопытно и жутковато.

Вокруг Вала в Опочке ходило немало легенд. Однажды в нижней его части, после проливного дождя, мы нашли множество монет времен Ивана Грозного, свидетелей прошлых происходящих на этой земле сражений.

Царские особы неоднократно посещали Опочку, в основном – проездом. Весной 1780 года приезжала Екатерина II, император Александр I был в Опочке дважды, император Николай I неоднократно бывал в Опочке проездом из Петербурга в Варшаву, вместе с будущим императором Александром II.

Частым гостем в Опочке бывал Александр Сергеевич Пушкин во время ссылки 1824–1826 годов в село Михайловское, расположенное примерно в 30 км от Опочки, считавшейся тогда одним из лучших уездных городов. Пушкин часто посещал опочечские ярмарки, самыми крупными из которых были зимняя – «крещенская» и летняя – «петровская», проходившая 13 июля. «На большой Соборной площади, примыкающих к ней улицах вдоль торговых рядов до самой Великой собирались десятки тысяч людей всех званий, возрастов и достатка», – пишет в своей книге «Пушкин в Псковском крае» А. Гордон.

В те годы уездным предводителем дворянства в Опочке был А. Н. Пешуров, считавшийся «опекуном» Пушкина во время его Михайловской ссылки. В письме к В. А. Жуковскому из Михайловского в Петербург от 31 октября 1824 года Пушкин сообщает о том, что Пешурову поручено следить за ним и что тот пытался привлечь к этой слежке отца поэта, от чего Сергей Львович отказался, но с сыном рассорился.

О прошлом и настоящем Опочки написано немало рукописей и книг, начиная с XV века и до наших дней. Примером тому может служить «Степенная книга», составленная Киприаном еще до 1406 года, и Макарием, который жил в царствование Ивана Грозного и умер в 1564 году, а также рукопись, некогда хранившаяся в рукописном отделе Санкт-Петербург-

ской Императорской Публичной библиотеки, «Чудо преподобного чудотворца Сергия о преславной победе на Литву у града Опочки».

Посол римского императора Максимилиана, посетивший Опочку в 1517 году, пишет в своих «Записках о Московии», составленных с целью заключения мира между воюющими: «...переправившись через две реки, Великую и Детерницу, и отъехав две мили, мы прибыли к Опочке, городу с крепостью, стоящему на реке Великой. На этом месте находится плавучий мост, который лошади переходят большей частью по колено в воде. Эту крепость осаждал король польский Сигизмунд, когда я договаривался о мире в Москве. Казалось бы, что в этих местах неудобно вести войска по причине частых болот, лесов и бесчисленных рек, но впереди посылается множество поселян, которые должны удалять все препятствия...»

Об Опочке в свое время писали Н. Карамзин, В. Костомаров, А. Травин и многие другие. В 1879 году Н. И. Кукольников написал «Опыт древней истории Опочки», «ввиду особого почитания моей дорогой Родины», который в настоящее время является библиографической редкостью.

Я же хочу просто рассказать, что представляла собой Опочка в дни моего детства.

Глава 1

Год 20-й и до него. Канев. Родители. Революция

Родители мои поженились в 1920 году в городе Каневе. В том самом Каневе, где возвышается гора с могилой великого поэта Украины Тараса Григорьевича Шевченко; в том Каневе, где похоронен писатель Аркадий Гайдар, погибший в 1942 году. Там же похоронен и Н. П. Ленский – артист московского Малого театра.

Училась мама в прогимназии, где классы девочек размещались на верхнем этаже, а мальчиков – на первом. Во время буйного весеннего цветения украинских садов между ними возникала бурная переписка. Записочки опускались из окна на веревочке (нитке) и так же поднимались. Назначались свидания в Городском саду, на высоком, коренном берегу могучего Днепра. Но не дай бог встретить в саду в неурочное время свою классную даму – по поведению сбавят балл.

Вспоминала мама учительницу рукоделия, которая ходила в заштопанной юбке, показывая ученицам пример бережного отношения к вещам, чем внушала уважение своим подопечным. Представляю, если бы сейчас в класс пришла учительница в заштопанной юбке, – ее питомицы не поняли бы и, пожалуй, презирали.

Рассказывала мама и как им, «иноверкам» (две еврейки и полька), разрешалось не посещать уроки Закона Божьего. Можно было и посещать, но они их радостно прогуливали.

Гимназию мама закончила успешно и хотела продолжить учебу и стать врачом, но бабушка (ее мама) не понимала, зачем женщине образование: «Ей замуж надо и детей рожать!» И не пустили маму в Киев: «Одну девушку из дома – позор!» Так мама осталась в Каневе.

Мама очень любила наряжаться. Она сама перешивала себе платья, то удлиняя, то укорачивая, в соответствии с модой. Носила шляпки типа кепки, которые назывались «матчиш».

За мамой начал ухаживать внук урядника, столичный студент. Он научил маму и ее подружек петь «Варшавянку» и «Марсельезу». Они ходили по улицам и пели: «Вихри враждебные веют над нами...» Урядник был в шоке. Однажды он пришел к деду в лавку и сказал, что если Фаня (так звали мою маму) не оставит в покое его внука, – деду не сдобровать. Мама была наказана, встречи пришлось прекратить, а студент уехал в Питер.

Обычно квартальный, или околоточный, приходил в еврейские праздники поздравить семью, за что ему выносили водку с закуской и давали денежку – «катеньку». Зато во время погромов они заранее сообщали деду, что готовится черносотенная «акция», и дед успевал кое-что в лавке и дома припрятать.

В бакалейной лавке деда чего только не было! Разные крупы, конфеты, мыло хозяйственное – сине-белое, постное масло, селедка и керосин. Мука была пшеничная, разного помола, даже крупчатка. Теперь о такой никто и не помнит. Очень вкусные, пышные и душистые получались из нее пироги.

Дед в лавке все делал сам. Сам грузил, взвешивал, обслуживал покупателей. Отпускал дед и в кредит, записывая должника в книгу. Местные жители относились к нему с уважением и даже с любовью. Звали его все просто – Бенюма (от Бенюмен, что соответствовало русскому – Вениамин).

Бабушка восседала за кассой. Была она грамотная и очень серьезная, даже строгая. И как не быть строгой, ведь ее семейство насчитывало семь детей, из которых мама была старшей. Еще двое умерли в младенчестве.

Когда маме исполнилось 19 лет, бабушка родила последнюю дочку – Ревекку, которую дети почему-то прозвали Бубой и которая, став взрослой, стала просто Ритой. Мама стыдила бабушку, говорила, что пора с этим кончать. Но детей было столько, сколько Бог дал. И всю

эту ораву надо было накормить и одеть. Жили не богато, но и не бедно. Держали прислугу, которая помогала дома по хозяйству. Мама была «командиршей». Она ходила на рынок и покупала овощи и фрукты. Надо было купить те, что подешевле.

Дома распределялись фрукты и конфеты (ландрин), тоже мамой. Делила она «по-братски»: старшим – лучшее, младшим – похуже, а самое лучшее – себе. Хотя, казалось бы, надо – наоборот. Всю тяжелую работу по дому – стирать пеленки, носить воду – делала вторая сестра – Голда (Оля), которая была младше мамы на четыре года. Мама предпочитала мыть полы и носить продукты.

Надо сказать, что дед не был родным отцом моей мамы. Ее отец – Соломон Ландау, первый муж бабушки Розы, был родом из Киева, где жили его родители. Прадед служил на конфетной фабрике знаменитой фирмы «Жорж Борман». Мамин отец поехал однажды к родителям в Киев, по дороге простудился и вскоре умер от воспаления легких. Бабушка с год или два повдовела, а потом вышла замуж за своего приказчика, которого она взяла себе в помощники. Он был «приймак», как говорили на Украине, родом из Триполья. Был он довольно крупный мужчина, молодой и сильный. Я же его молодым не знала. Он для нас всегда был дедом: ведь ему, когда я родилась, исполнилось 58 лет. Он был 1864 года рождения и прожил ровно сто лет. Прекрасной души и ума был человек! Маме он заменил отца и любил ее не меньше, чем родных своих детей.

Правила в доме бабушка. Она была быстра на руку, и детям от нее доставалось. Она их не баловала, не ласкала, наказывала по заслугам. Особенно когда ей надоедали или что-нибудь клянчили, она могла запустить в надоеду тем, что под рукой, будь то кочерга или ухват.

Теперь и не ведают городские жители, что это за предметы, так необходимые при пользовании русской печкой и пузатыми «чугунками» – черными снаружи и облицованными белым изнутри горшками. Чугунки были всяких размеров, от маленьких – на два-три литра до двухведерных, в которых кипятили воду, когда стирали белье. Кочергой мешали дрова в печи и выгребали угли. Углями заправляли утюги для глажения белья и огромный медный, луженный оловом самовар, в котором кипятили воду для чая.

Утюги были очень тяжелые, разных размеров. В них насыпали угли и лучинками разжигали огонь. Лучинки сгорали, а уголь накалялся. Чтобы утюг быстрее накалялся, его раскачивали из стороны в сторону, и угли вспыхивали красными и голубыми языками пламени. Утюг был «зубастый», похожий по форме на пароход, иногда и с трубой (портновский).

Перед революцией в Каневе собирались строить мост через Днепр. Приехало какое-то проектное бюро, куда мама и устроилась работать чертежницей или копировщицей. Прибыл инженер – красавец-мужчина, поляк по происхождению. И мама влюбилась. Бабушка пыталась их разлучить, запирала маму в комнате, а та выбиралась ночью через окно, когда все засыпали, и бегала на свиданья. Где-то в Польше у инженера была жена, но он говорил, что они разведены. Он хотел увезти маму, но бабушка восстала, и «марьяж» не состоялся.

Любовь оставила печаль в сердце и равнодушие к дальнейшей судьбе. Когда во время Октябрьской революции Украину оккупировали немцы, они никого не трогали. Ходили по хатам и требовали «яйки» и «смалец» (сало). Один немец поселился в бабушкиной хате и стал ухаживать за мамой, звал в жены, в Германию. Но мама в Германию ехать не собиралась. И когда появились в Каневе красные, и мой отец сделал маме предложение, она согласилась стать его женой. Ей уже шел двадцать первый год. Но мама всегда подчеркивала, что вышла замуж без любви, а так: «Надо – и вышла!»

В 1918–1920-х годах Канев непрерывно переходил от белых к красным, от красных – к немцам, к бандитам Петлюры, Махно и Маруси, и снова – к красным.

Летом 1920 года в городе установилась власть Советов. Из России прибыли красные. Среди них был и мой отец – Баренбаум Евсей Осипович. Он был начальником финансовой части.

Невысокого роста, приятной внешности, в гимнастерке и синих галифе с красными лампасами, в черных высоких сапогах, он сумел покорить мою маму, гарцуя на белом коне перед окнами хаты.

Девушек на выданье в Каневе хватало, но мама привлекала своей непосредственностью, кокетством и довольно яркой внешностью: почти одного роста с папой, черноволосая, зеленоглазая, стройная. Носик немного подкачал – широковатый.

Когда моя мама спрашивала своего отца (на самом деле – отчима), почему у нее нос не такой, как у всех сестер (а их было пятеро), мой дед шутил: «Бог выбирал твой нос ночью, вот и не заметил, что твой нос широковат».

Главное было – понравиться родителям девушки. Папа завоевал сердце деда своим вниманием: он помог ему освободиться от трудовой повинности в возрасте пятидесяти шести лет, хотя брали всех до шестидесяти. Еще дед был покорен тем, что отец знал древнееврейский язык и Талмуд – священную книгу евреев. Это на языке деда называлось «ученый еврей».

Взаимопонимание решило вопрос сватовства положительно, и свадьба состоялась, хотя отец приехал из России и был из неизвестной семьи. Но он написал своим родителям письмо в Великие Луки, откуда был родом, что хочет жениться, и получил благословение.

Невесте сшили подвенечное платье и фату из накрахмаленной марли, а папа был в своей форме. Свадьбу сыграли весело, по всем законам и правилам. Отцу было двадцать шесть, маме – двадцать два года. Проводили они свой медовый месяц в Каневе.

И в это время Канев снова заняли белые. Папу с мамой и с денежным сейфом из комиссариата спрятали местные жители – украинцы – в своем погребе, где хранились бочки с солеными огурцами, помидорами и арбузами. «Если они нас обнаружат, я им живым не дам, – сказал отец, – сначала застрелю тебя, потом себя», – и положил рядом с собой револьвер. Мама не возражала: «Только не торопись, а то убьешь раньше времени!»

Сидят они тихо за бочкой с огурцами, а сейф закопали в землю. Вдруг раздался какой-то шорох у дверей. Отец схватил револьвер, но мама успела его остановить: «Да то куры!»

Но вот раздалась пушечные выстрелы. Кто стрелял и в кого – в погребе не понять. Канонады раздалась с Днепра, и все стихло. Как долго они просидели в том погребе – неизвестно. Только через какое-то время пришел хозяин: «Збирайтесь! Я вас на крейсер одвезу. Червоний крейсер на Днипро до нас прийшов!»

Мама часто вспоминала спустя годы, что она смолоду была энергичной и отважной. Когда в Канев приходили бандиты или черносотенцы устраивали еврейские погромы, мама выбивала окно и все «тикалы» на гору Московку, под которой стояла хата. На этой горе в мирное время гуляли «парубки та дивчины», оттуда темными, теплыми звездными вечерами разносились звучные украинские песни. После погромов возвращались в хату, где не было «живого угла» – все вперемешку: варенье с пухом перин и подушек, разбросанная одежда, битая посуда и сломанные вещи.

Жизнь начиналась сначала. Через несколько дней погромщики приходили в бакалейную лавку деда с «опущенными долу» глазами просить в долг те или иные товары.

Однажды, когда махновцы заняли Канев, они явились к деду, нашли в сарае шубу, которую дед спрятал в дровах. Эту шубу дед «справлял», т. е. собирал на нее деньги, несколько лет. Шуба была на хорьковом меху, покрытая сукном. Один из махновцев, здоровенный детина, потребовал, чтобы дед напялил на него эту шубу. Шуба трещала, а дед плакал...

Приходили петлюровцы и тоже грабили местных купцов и мещан. Красные никого не грабили, но заставляли отбывать трудовую повинность. Так в течение нескольких лет на Украине менялась власть.

Глава 2

Годы 1921 – 1926. Великие Луки. Рождение сына. Рождение дочки. Голодные годы. Первая кража. Сольцы. Новосокольники

Окончилась «каневская эпопея», окончилась Гражданская война, во всяком случае, для папы. Папа был близорук, и его демобилизовали. Его отец был стар и немощен и звал его домой, в Россию, в город Великие Луки.

Город Великие Луки – провинциальный городок, раскинувший свои домишки на излучине реки Ловать, впадающей в озеро Ильмень. Некогда по Ловати проходил путь из «варяг в греки», и Великие Луки были торговым городом, но когда в 1921 году туда приехали мои родители, – город показался маме грязным, серым и унылым. Естественно, мама привыкла к яркости голубого неба над днепровским раздольем.

Маму встретили родители и сестры отца. Жили они в каком-то полуподвале. Дед был тяжело болен. Всю свою жизнь он был бедным портным. Это теперь портные в почете, а тогда он едва мог прокормить свою семью, состоящую из бабушки и четырех папиных сестер. Вся обстановка произвела на маму удручающее впечатление. Отец не мог найти работу – в стране была разруха.

Своего первенца – моего брата – мама поехала рожать домой, к бабушке на Украину. Там ее откормили, обласкали, и 13 июня 1921 года родился ребенок – крупный, красивый и здоровый: «10 фунтов весу», – говорила мама. Его назвали Иосифом в честь деда – папиного отца, хотя деда звали просто Осипом. Ведь наш папа был Евсеём Осиповичем.

Вскоре мама вернулась к папе в Великие Луки. Они голодали. Месяцами отец не работал. В поисках работы уезжал в ближние селения. Работал счетоводом в каком-то лесхозе, а мама с ребенком оставалась одна в чужом городе, в доме, где они сняли маленькую квартиру с комнатой и кухней.

Как-то раз пришли папины сестры (возможно, это было уже при НЭПе) и предложили открыть лавочку. Для начала нужны были деньги. Денег не было. Было мамино приданое: кое-какое серебро – ложки, вилки; обручальное колечко и перстенок с бирюзой. Все это сестрички прибрали к рукам и открыли какую-то лавчонку. Дохода от лавки они в силу своего неумения, естественно, не получили, и мамино приданое пошло прахом. Плачь – не плачь, слезами горю не поможешь.

И тут вдруг мама обнаружила, что у нее под сердцем забился второй ребенок. Он был совсем некстати: голод, разруха, безработица, хозяин грозит согнать с квартиры. Мама решила избавиться от ребенка. Она пошла к врачу, но врач сказал, что раз ребенок шевелится – он должен жить. «Я не убийца», – сказал врач. Мама прыгала со стула, носила тяжести, но ребенок зацепился крепко.

В мурое осеннее утро 12 сентября 1922 года родилась я – хилое, маленькое дитя, едва подавшее голос. Ребенок был нежеланным и, как будто понимая это, вел себя очень тихо. Как говорила мама: «Тебя не было слышно! Подойду, посмотрю, прислушаюсь – жива ли? И уже этот живой комочек от себя не оторвать».

Кроваткой мне служила плетеная бельевая корзина. Однажды братец потянулся за моей соской (ему ведь самому было чуть больше года), корзина перевернулась и опрокинулась вместе со мной. Мама прибежала на грохот, схватила меня на руки. Из моего носика шла кровь, но я была жива и даже не плакала. Плакал мой маленький испуганный братишка. Мама говорила, что он вообще был горластый, она уставала его качать. Но когда мама просила папу покачать сына, он отвечал: «Пусть моя половина плачет».

Мама, ей было тогда двадцать четыре года, брала одного ребенка за руку, второго на руки и шла с ними и на рынок за провизией, и в лавку за хлебом и другими продуктами, которые там выдавали по карточкам. Была она тоненькой и молодой, и ее все спрашивали, чьи это такие хорошенькие детки. Особенно мама гордилась сыном, маленький он был белокурым, белолицым и розовощеким ребенком с большими черными глазами.

Мне красоты не досталось, но теперь я уже не в обиде. А была девчонкой – очень завидовала красоте брата, его ровным белым зубам и вьющимся волосам. Против него я была замухрышкой: родилась слабой, плохо ела, плохо росла; смуглая, с черными прямыми волосами, да еще зубы неровные – как в шишке кукурузной – тесно им, видно, было. Но, в общем, мы с братцем жили довольно дружно. Я отвлеклась от прямого повествования. Вернемся к двадцатым годам двадцатого столетия.

Однажды мама пошла с нами гулять, а когда вернулась домой, обнаружила, что нас обокрали – украли столовое серебро, которое еще не успели спустить сестры отца, и кое-какие вещи. Мама бросилась к хозяину и нашла его сидящим у себя в квартире с приятелем. Оба были страшно довольны собой и пьяны в стельку. На мамины вопросы отвечали: «Ничего не видели, ничего не знаем!»

Мама вызвала милицию и сказала, что подозревает хозяина. Стали делать обыск – ничего не нашли. И уже стали уходить, когда милиционер обратил внимание на сдвинутый с места у ворот большой камень-валун. Его отодвинули и обнаружили серебряные ложки и вилки. Остальное хозяин отдал сам. Мама не подала в суд – побоялась: некуда ей было деваться с двумя детьми. Папа был в отъезде. Он уехал в Сольцы, где устроился на работу, а вскоре забрал и нас. Так закончилась «великолукская эпопея».

Уже в тридцатых годах я с отцом и братом побывала еще раз в Великих Луках. Помню, как ходили мы в кино, смотрели фильм «Красные дьяволята». В памяти из всего фильма осталось только, как Махно сидел на лошади, весь в пуху и перьях. Еще помню очень красивый лес в Булынино – дачном месте, где отдыхали с семьями наши тетушки: Таня и Рая. Там я познакомилась со своими двоюродными сестрами и братом.

В Сольцах мы прожили недолго и переехали в Новосokolьники. Там я в три года заболела крупозным воспалением легких, была без сознания. Мама мне делала бесконечные компрессы. Я дышала с трудом и, когда наступил кризис, затихла. Мама решила, что я умерла, и в слезах побежала за доктором. Доктор пришел очень быстро и сказал, что теперь болезнь миновала, но надо меня беречь от простуды и хорошо, понемногу кормить.

Я лежала в детской кроватке в полутемной комнате (жили мы в каком-то полуподвале) и рассматривала книжку с картинками, кажется, «Мойдодыр». Помню, как мама надевала зимнее пальто с кротовым воротником у зеркала, стоящего в простенке между двух окон на импровизированном туалетном столике (ящик, поставленный «на попа»). И вдруг огромная крыса вскочила на маму и быстро добралась до воротника. Мама, хотя и была очень храбрая, но страшно испугалась и закричала. Крыса спрыгнула на пол и скрылась в подполе. Похоже, что от крика крыса перепугалась не меньше мамы.

Жили мы возле какой-то гостиницы, где останавливались иностранцы. Что они делали в двадцатых годах в Новосokolьниках – мне неясно. Возле входа в гостиницу был деревянный тротуар, а на нем деревянная решетка, как в бане. Почему-то мы там часто находили какие-то иностранные монетки. Еще припоминаю какой-то двор, в котором было много огромных бочек, где мы играли в прятки. На какой-то бочке я оставила свои любимые детские книжки и забыла, на какой. Долго искала и плакала, не нашла и заблудилась среди бочек. Потом меня искали. Вот и все, что я помню о Новосokolьниках. А потом мы переехали в Опочку. Но это уже следующая, незабываемая глава моей жизни.

Глава 3

Годы 1926 – 1928. Опочка. Клемешино. Вал. Маевка. Кооперативная столовая. Паша. Первые песни. Собор. Крещение в проруби. Ярмарки

Как мы очутились в Опочке – я не помню. Привез нас папа в этот уездный городок и поселил в деревянном доме на Завеличье, на низком левом берегу Великой, поросшем изумрудной луговой травой как плюшевым ковром. Дом был одноэтажный, деревянный, с подвалом и чердаком, с двумя резными крылечками. Двор был обнесен высоким деревянным забором с массивными широкими воротами для проезда лошадей и телег с одной стороны и калиткой – с другой. Во дворе дома стоял флигель, где жильцы менялись довольно часто. В углу двора был огромный сеновал-сарай и еще маленький курятник.

Дом этот принадлежал разоренным купцам-галантерейщикам из города Пскова. Одну половину дома они сдавали нам, во второй жили сами хозяева: Анна Абрамовна с мужем. Анна Абрамовна была высокая пожилая женщина со следами былой красоты. Густые вьющиеся седые волосы были уложены в высокую прическу с черепаховыми шпильками и гребнем. Она никогда не жаловалась и ничего не рассказывала о своей прежней жизни. Муж ее был тяжело болен – он изредка выходил погреться на весеннем солнышке на скамейке у калитки. Он умирал от чахотки, был худ и стар.

Мы приехали в Опочку в разгар НЭПа, в конце 1926 года. Отец служил главным бухгалтером Госбанка, и мы уже не нуждались. В квартире, состоящей из гостиной, спальни и большой кухни с русской печью стояли только самые необходимые вещи. Мебели у нас почти не было. Папа не любил лишних вещей. Чтобы купить платяной шкаф и поставить его в спальне, маме пришлось выдержать целую баталию. Папа считал, что наша одежда может прекрасно висеть на стене под ситцевой занавеской.

Единственное излишество, которое папа себе позволил, был рояль. Папа мечтал, что дочь его будет учиться музыке. Родители всегда хотят видеть в детях воплощение своих несбывшихся мечтаний. Как ни прискорбно, пианистки из меня не вышло. Рояль был приобретен и поставлен в угол гостиной. Напротив стоял диван, старый, узкий, со спинкой до половины. Точнее, это была кушетка, обитая зеленым сукном. Брат обычно спал на ней, пока мы были маленькими. Когда мы подросли, туда выдворили меня из родительской спальни; а для брата купили раскладушку, которая постоянно сама складывалась, что сопровождалось падением спящего брата. Но это никого не огорчало. Каждое утро кровать складывалась и засовывалась в холщовый белый мешок, а вечером вновь раскладывалась, и все ее части вставлялись в пазы и не хотели соединяться.

Была еще этажерка из красного дерева (или под него), лакированная, большая, высокая на витиеватых столбиках. На этажерке стоял китайский фарфоровый чайный сервиз на белой крахмаленной салфетке. На чашечках, чайнике и сахарнице были изображены удивительные человечки с косым разрезом глаз в кимоно. Еще там стояла масленка в виде продолговатого свежего огурца на листе. Это было первое приобщение к красоте.

Папа любил красивые, но не громоздкие вещи. У него был серебряный портсигар с рубином в замке. На крышках его были выгравированы барельефы: на верхней – лесная фея среди деревьев, на нижней – какой-то пейзаж с домиком. Папа очень много курил, и его портсигар всегда был полон белых душистых папирос.

Между двух окон, выходящих на улицу, а точнее – на реку, стоял тот же импровизированный туалетный стол из ящика, покрытый белой льняной скатертью. Углы скатерти закреплялись булавками. На столике стояло зеркало, две тонкие вазы зеленого стекла.

Обычно в них стояли искусственные цветы, которые пахли свежей крашеной стружкой. Были еще стулья у окон и у рояля. Между роялем и этажеркой был маленький круглый полированный столик с безделушками. У дивана стоял огромный фикус, а у рояля – вьющаяся комнатная елочка, которая цвела мелкими белыми цветочками, похожими на снежинки.

В правом углу комнаты находилась железная печка, которая пожирала зимой огромные поленицы березовых дров. Топила мама ее дважды в день: утром и вечером. За ночь квартира так выстывала, что мама вставала раньше всех, бежала в сарай за дровами и старалась разжечь в печке огонь прежде, чем мы проснемся. На пол расстился папин тулуп, и мы устраивались у огня, где было тепло и весело. Огонь притягивал нас. Дрова трещали, рассыпая искры, языки пламени лизали поленья и березовую кору. Меня огонь просто завораживал, хотелось смотреть на его игру бесконечно.

Полы в доме были простые, из досок. Мама терла их добела песком, голиком из березовых веток. Потом застилала пол домоткаными половиками. Было уютно и радостно – беззаботное детство.

В спальне стояла деревянная двуспальная кровать родителей и маленькая моя железная кровать. Шкаф, который мама выпросила у папы со слезами, был высоким, с резным карнизом, с балясинами, с двумя выдвигающимися ящиками для белья. Мамина мечта сбылась. Прямо у входа в спальню, завешенного ситцевой занавеской с «огурцами», находилась лежанка от русской печки, на которой было тепло и уютно и где я очень любила играть со своими куклами.

В кухне стоял стол у окна и возле него стулья. Стулья в доме были гнутые, «венские», с деревянными сиденьями, очень удобные и легкие. Всего было шесть стульев. В углу у русской печки стоял табурет с большим эмалированным тазом, сверху коричневым, внутри белым. Над тазом висел умывальник на гвозде. Полотенце было льняное, длинное, на всех одно. В углу примостились кочерга и ухват. Стены комнат и кухни были оклеены обоями. В коридоре стены были из бревен, обитые потемневшими от времени серыми досками.

Под крышей был чердак, куда вела лестница из коридора (сеней). В дождливое осеннее время года на чердаке развешивалось белье. Зимой и летом белье развешивалось во дворе. Для этой цели через весь двор натягивались веревки, а под веревки подставлялись доски, чтобы белье не касалось земли. Но бывало, что ветер или тяжесть мокрого белья обрывали веревки, и тогда мама вновь переполаскивала белье, ругая себя и веревки. Белье стирала мама тщательно, до блестящей белизны. Постельное белье было только из белого льняного полотна, ситцевым тогда пренебрегали.

Стирка происходила раз в две недели, с предварительным замачиванием в мыльном растворе на ночь. Потом белье отстирывалось в цинковом корыте – сначала в теплой воде, затем в горячей. Трехведерная выварка загружалась бельем и водружалась на примус. Белье кипятилось час, а то и два. Потом вновь отстирывалось в горячей воде. Мама производила все эти манипуляции вручную, легко и весело. Больше всего ей нравилось то, что белье можно было прекрасно отполоскать в реке. Для этой цели служил пральник – деревянная лопатка с ребристой поверхностью и выгнутой «спинкой». Белье немилосердно колодили, оно только отбеливалось, но не рвалось. Крепкими были льняные нити домотканого полотна!

Даже зимой мама полоскала белье в проруби. Я как сейчас вижу мамины руки, покрасневшие от ледяной воды. Она их растирала и вновь принималась полоскать белье. Постельное белье синили и крахмалили, а потом развешивали. Зимой белье на улице промерзало и не складывалось. Ворох мужских, верхних и нижних рубашек с торчащими рукавами, стоящих твердых простыней, пододеяльников, наволочек вносился в комнату. Комната наполнялась свежим запахом выстиранного белья, пропитанного ароматом чистого снега, летом – трав.

К приходу отца мама старалась, чтобы в доме все было убрано. Не дай бог, придет папа и увидит корыто в кухне или, еще того хуже, – немытый пол. Скандал! Отец был очень нервный и раздражительный. Если пол не домыт и ему не пройти в комнату, он мог стукнуть дверью, уйти в свой «проклятый банк» и сидеть там до позднего вечера. Но такое бывало редко. Обычно мама вставала рано и успевала все сделать к приходу отца: и убрать, и приготовить обед, и себя привести в порядок.

Двор у нас был замечательный – просто сказочный двор. Лучшего двора для нас, ребят, и придумать было невозможно. Две огромные площадки, поросшие низкой густой травой: гусиные лапки, гречишник-подорожник и еще какая-то мелкая травка. У забора возле курятника и помойки росли огромные лопухи. За флигелем была щель, заросшая малиной и бузиной, а вдоль фасада нашего дома – палисадник с кустами сирени и какими-то пахучими беловато-желтоватыми гроздьями соцветий.

Мы очень любили играть в лапту, в «штандер». В этих играх принимали участие ребята не только нашего двора, но и всей улицы. Играя в прятки, в «палочку-стукалочку», мы умудрялись забираться в самые потаенные места: прятались за сараем, домами и даже в курятнике под насестом. За последнее нам здорово влетало от родителей, но мы не очень-то обращали внимание на куриный помет и на окрики взрослых. Боялись мы только отца. Его слово было для нас законом. Мама, когда у нее лопалось терпение, говорила: «Скажу папе!» Шалости сразу прекращались.

Со стороны сараев двор примыкал к огромному фруктовому саду, который принадлежал детдому (приюту). За садом никто не ухаживал, но яблоки родились, хотя уже и одичавшие. Ранней весной мы ходили в этот сад за свежим зеленым щавелем, делали из него «слоеные пирожки», складывая лист к листу, и тут же ели. Осенью таскали из сада яблоки. Ели все немытым и были здоровы. Сад этот был особенный: в нем гулял павлин с широким «глазастым» хвостом. Никто не знал, откуда он взялся. Вероятно, остался от прежних хозяев этого дома. Павлин был очень красивый, с маленькой головкой, украшенной короной из изящных перьев. Хвост он тащил за собой и только изредка распускал его веером. Иногда он терял перья из хвоста, и мы использовали их для украшения шляп во время наших театральных представлений.

У сеновала в саду росли три дуба-великана. Каждую осень дубы покрывались множеством толстых гладких зеленых желудей с сероватыми шершавыми шляпками. Мы собирали их для игры и для мамы. Мама делала из желудей прекрасный кофе. Сначала она их сушила, жарила, потом толкла в медной ступке, добавляла цикорий и заправляла молоком. Кофе был очень вкусным, не то что ячменный, который продавался в те времена. Настоящего кофе тогда не было. Зато молоко было настоящим, свежим, парным, прямо из-под коровы, приносила его Ганя из Клемешина.

Клемешино – это бывшее барское имение. Оно было очень близко от нас, наверное, километр или полтора от нашего дома. Когда-то оно было богатым: обширные поля за нашим домом, огромный фруктовый сад, стада коров, лошади и злые собаки. Все это мы еще застали. Помещик сбежал за границу. В имении остался управляющий со своей семьей. До тридцатого года его не трогали, и он продолжал вести хозяйство.

Неоднократно мы забирались в клемешинский сад за яблоками. Наберем полный подол яблок, а мальчишки полные запазухи – и деру. Как-то раз на нас спустили собак – еле ноги унесли.

В Клемешине состоялось и первое мое знакомство с граммофоном. Огромная блестящая труба, а в ящике крутятся черные диски. Здесь впервые я слушала Шаляпина. Очень нам понравилась песня «Блоха». С тех пор мы без конца распевали: «Блоха – ха – ха – ха – ха».

Было в Клемешине несколько коров. Паслись они на заливных лугах реки Великой, и молоко было ароматное, густое, со сливками. Из русской печки вынимали его в крынках с

зарумяненными коричневыми хрустящими пенками. Ганя – работница или дочка управляющего была малорослая, некрасивая, гундосая девка, но то, что надо было делать, делала исправно.

В тридцатых годах имение отобрали под колхозные или совхозные земли, а самого управляющего с кое-какими пожитками, среди которых сверкала граммофонная труба, посадили на телегу и куда-то отправили. Я была тогда маленькая и еще не понимала толком, что значит «раскулачили». Всем было их жалко: они плакали и причитали. Куда же их гнали? Никто не знал.

А скот остался; и когда я пошла в школу, мы в порядке шефства ухаживали за телятами. Телята были мокроносые и очень ласковые, вот только часто очень больно наступали на ноги, когда мы их чистили скребками. Тогда было принято заниматься шефством. То мы ухаживали за телятами, а то – за детьми в яслях. Кто-то шефствовал над нашей школой.

Сразу за нашим домом начиналась дорога в лес, в поля, в купальни за Люськиным домом и садом. Люська – это девчонка-подружка из голубого дома у реки, у самого обрыва. За домами был большой пруд с небольшим полуостровком, на котором росла пушистая плакучая ива.

В пруду в большом количестве водились лягушки. В теплые белые, подернутые молоком тумана летние ночи они устраивали оглушительные лягушачьи концерты. На этом пруду мы познакомились с развитием жизни. Весной вся прибрежная часть пруда, поросшая незабудками, покрывалась сплошными лепешками круглой зеленой лягушачьей икры. Потом внутри появлялись черные «глазки», из которых затем вылуплялись хвостатые головастики. Наконец у головастиков появлялись лапки, и хвост отпадал. И уже маленькие темные лягушки прыгали по всему берегу и отчаянно ныряли в воду при нашем вторжении. Нас очень забавляло это четырехлапое, перепончатое племя. Водились еще в пруду черные пиявки, похожие на жирных червей. Мы их не любили и побаивались, поэтому в воду не лезли.

За прудом начинались пойменные луга реки Великой, поросшие веселым разнотравьем, расцвеченные яркими цветами красных гвоздик, лиловых смолянок, желтой сурепицы, белыми желтоглазыми ромашками. Через луг за садом, примыкающим к последним домам, вела узкая тропинка к купальне. В этом месте река разделялась на два рукава, омывающие поросший ивняком песчаный остров. У самого берега было мелко и песчаное ровное дно. Но стоило отойти метра на три, как быстрым течением сбивало с ног. Крутой, песчаный берег обрывался прямо у воды. У уреза воды стоял пенек, с которого умевшие плавать бросались прямо на стремнину.

Я рано научилась плавать, лет в шесть-семь. Кто-то столкнул меня в воду с пенка. Я испугалась, начала барахтаться, бить в ужасе по воде руками и ногами и – выплыла к берегу. С этих пор я перестала бояться воды. Вода удерживала меня на плаву как легкое перышко или соломинку.

Мы любили лежать у купальни в теплые летние дни, запрокинув голову к небу, и смотреть на летящие в голубизне пушистые белые облака. Нам чудились в контурах облаков звери, колдуны с длинными бородами, башни, замки. Мы умудрялись испечься на солнышке так, что у нас от загара облезала кожа на носу и на спине. Мама смазывала кожу вазелином. К концу лета мы уже были похожи на негрятят.

Река нам приносила много радости и летом, и зимой – в любое время года. Не успевал сойти лед, как мы устремлялись к реке. Вода была еще холодная, но только покаходишь в нее, а потом уже становилось тепло. Мы вооружались железными вилками как острогами и шли не на рыбалку, а на охоту за головнями и пескарями. В прозрачной воде проступал каждый камешек, каждая песчинка на дне реки. Колыхались длинные темные водоросли. Тихо передвигая ноги, чтобы не замутировать воду, отворачивали камень, и часто под камнем стояла

рыбешка – наша очередная жертва. Вилка быстро и беспощадно втыкалась в застывшего головня. Рыбины были невелики, но кошки их охотно ели. Мы часами просиживали в холодной воде перед окнами нашего дома. Никто нам не запрещал – сиди там хоть целый день.

Кончилось это довольно плачевно – я заработала ревматизм. У меня начали ныть ноги, и мама растирала их муравьиным спиртом. Готовили его следующим образом: в лесу в муравейник ставили бутылку, и туда попадали муравьи. Их заливали спиртом, настаивали, процеживали – и растирка готова.

Потом я начала температурировать, и родители без конца таскали меня по врачам, в основном туберкулезным. Боялись, что у меня, как и у папы, туберкулез, а на суставы и на сердце не обращали внимания. Туберкулеза у меня не оказалось, видно, был хороший иммунитет. Я продолжала наслаждаться речными радостями.

Летом река сильно мелела, зарастала водорослями. Посредине реки появлялись песчаные косы, и мы вброд переходили ее с одного берега на другой, замочив лишь трусишки. Зато в период весеннего половодья Великая выходила из берегов. Не помню, в каком году половодье было очень сильным: водой затопило весь берег до самого нашего дома. В школу приходилось ходить «задами». Нам эта стихия была нипочем – река только радовала нас своей мощью. Обычно же вода в половодье доходила только до дороги. По весенней воде сплавляли лес молеми – отдельными бревнами и плотами. На плотам плыли сплавщики. Они баграми разгоняли бревна, сталкивающиеся и громоздящиеся друг на друга. Отгаскивали бревна, застрявшие у берега. В реке было немало топляков – утонувших и не всплывших бревен, застрявших в грунте дна между камнями. Поэтому нырять было опасно.

Зимой река покрывалась толстым, до метра и более, льдом, и мы катались по ней на санках. Брат катался на коньках, а я так и не научилась. Коньки-снегурочки привез папа. Они привязывались к валенкам. Брат очень быстро и ловко освоил эту премудрость. У меня же ничего не получалось, ноги меня не слушались. Катались мы и на лыжах. Снега было много. Снег был белый, искрящийся разноцветными брызгами, слепящий глаза. Лежал снег по всей реке, по заснувшим лугам и полям. Великое белое раздолье царило в Опочке в зимнюю пору. Морозы были сильные, трескучие. Иногда лед раскалывался, и тогда как будто выстрел прокатывался над замерзшей рекой.

Завеличье, где мы жили, с городом соединял большой мост, который от нашего дома был отделен еще тремя домами и приютским садом. В детстве мне это расстояние казалось очень большим. Когда же, спустя двадцать пять лет, я вновь посетила Опочку, я растерялась – все пространство сместилось. Все стало меньше, кроме Вала, все расстояния сократились; и я не узнала места, где был наш дом. А пока я еще очень мала, мне еще нет и восьми лет, и я не хожу в школу. И я радуюсь и реке, и полю, и лугу, и землянике, что растет в канаве возле дороги, ведущей к лесу от нашего дома.

Лес совсем близко, наверное, километра полтора от нашего дома, и мы ходим туда со взрослыми за ягодами и иногда за грибами. Мама лес не любила. Ведь она выросла на Украине, где нет темных еловых боров с заболоченными чащами.

Ранней весной мы ходили на лесную поляну за цветами. Вначале появлялись лиловые, покрытые ворсинками, на низком тонком стебельке крупные мохнатые колокольчики. Потом лесные опушки покрывались белоснежными подснежниками на длинных тонких стебельках с резными листьями. Охапками мы приносили их маме, и она ставила цветы в вазочки или просто укладывала в тарелки. Сорванные цветы радовали глаз свежестью, весенней прелестью.

Мама очень любила живые цветы в комнатах. Подснежники стояли долго, но в конце концов все же увядали. Это никого не огорчало. Их выбрасывали и ставили новые. Тогда еще подснежники не были занесены в «Красную книгу». Тогда еще никто и помыслить не мог, что пройдет всего полвека, и появится опасность исчезновения отдельных видов растений и

животных. Человечество ведет себя как неразумные дети, которые ломают игрушку, чтобы посмотреть, что у нее внутри.

Мы с братом не ходили в детский сад. Наша мама не работала, а занималась нашим воспитанием и домашним хозяйством. Но однажды, когда мне было лет пять, нас, неорганизованных детей, пригласили на новогодний праздник в детский сад. Там было очень весело: дети пели, плясали, рассказывали стихи. Мы тоже рассказали какие-то стихи, и нам дали подарки: брату досталось ружье, а мне – кукла. Кукла была небольшая, с тряпичным туловищем, руками и ногами, с пришитой гуттаперчевой головой. Как и положено кукле, на ней была синяя юбка с белой кофточкой и красный галстук. Кукла была пионеркой.

Мне не очень-то нравилось играть в куклы, меня больше тянуло на улицу, где было много ребят и много забав. Но была зима, холодно, и мы сидели дома. Очень мне захотелось пострелять резиновыми пробками, которые при выстреле вылетали и присасывались к стене или потолку. Ося милостиво разрешил мне пострелять, но только при условии, что я ему позволю посмотреть, что у моей куклы внутри. Нам казалось, что у куклы в животе то же, что и у нас. Любопытство было велико. Брат взял ножницы и вспорол кукле живот. Каков же был мой ужас, когда оттуда посыпались опилки! Я разревелась. Прибежала мама и сначала, как обычно, накричала на брата, а потом взяла иголку с ниткой и зашила «рану». С тех пор это была моя любимая кукла, и, кажется, единственная.

Жаль, что в природе нельзя зашить прорехи и вернуть к жизни исчезающий мир – «души очарованье».

Самым примечательным местом в Опочке был Вал, овеянный легендами и тайнами прошлого. С XVIII века Вал стал местом увеселения опочан. В праздничные дни на Валу играл духовой оркестр, вспыхивали и рассыпались фейерверки; на открытой сцене-раковине в котловине Вала или в закрытом летнем театре, в нижней части Вала, заезжие актеры давали гастроли. Чаше других приезжал к нам на летний сезон театр из Петрозаводска, где играл известный актер-трагик Чаплыгин и красавица-прима Лидарская. Много лет спустя я была в Петрозаводске в командировке и увидела там стоящий у театра памятник Чаплыгину. Я как будто вернулась в чудесную и удивительную страну детства. Не стало актера – не стало человека – осталась память.

Мы очень любили подражать актерам, устраивали всевозможные представления. Подмости из досок укладывались на перекладыны крыльца или ворот. Приглашались все соседи и даже раздавались «билеты».

Наши родители были молоды. У них была шумная, веселая, беззаботная компания. Душой этой компании была Антонина Соколовская, семья которой в конце 20-х годов занимала флигель во дворе. Муж Антонины был тихий, скромный человек, у них были две девочки: Лена – наша ровесница и Лида двух-трех лет. Обычно собирались у Антонины в складчину, танцевали, пели, играли в фанты, в карты, флиртовали с чужими женами и мужьями. Часто устраивали пикники. У Антонины были какие-то родственники на хуторе, недалеко от города. У них был сарай с сеновалом, на котором и дети, и взрослые очень любили валяться. Сено было свежее, душистое, перевязанное в отдельные кипы. Домой возвращались поздно ночью, при лунном свете. Антонина везла меня и Лиду в коляске, плетеной из белых ивовых прутьев. Я смотрела на луну, и мне казалось, что она катится меж прозрачных облаков за нами следом. Было тепло и тихо. Слышно было только громкое кваканье лягушек в придорожных канавах.

Однажды наутро после воскресного пикника отец, обшарив все карманы, обнаружил пропажу ключей от банка и от всех сейфов. Пришлось срочно «лететь» на хутор. К счастью, ключи нашлись в сене. И все обошлось благополучно. Но отец страшно перенервничал.

Антонина была большая выдумщица. Собрав всех детей, она развлекала нас шутками, придумывала потешные прозвища: «Фаня – топи баню, Евсей – горох сей, Леночка – пеночка, Осик – курносый носик». Себя она называла Антонина – обкаканная штанина.

Но вскоре муж Антонины заболел, у него пошла горлом кровь, и его увезли в больницу. Туберкулезом заболела и красавица-жена комиссара полка Кругликова. Прекратились складчины. Кружок любителей повеселиться распался. «Картежники» еще иногда собирались на чашку чая с вареньем и пирогами у нашей мамы. Приходили какие-то пожилые женщины, любительницы «девятого вала». Приходили Волкова и Медведева – «старосветские помещицы», а точнее – бывшие мещанки. Папа любил играть в преферанс. Играли иногда целыми ночами в папиросном дыму. Папа умудрялся проиграть всю получку, которую тогда платили по субботам. Мама очень расстраивалась и даже плакала: «На что мы будем жить?» Одалживали, конечно, а потом опять играли.

В начале 30-х годов и эти развлечения кончились. Соколовские куда-то уехали, и во флигеле поселилось большое шумное семейство Шишкиных.

Первую в своей жизни новогоднюю елку мы увидели в Люськином доме, когда ее бабушка пригласила нас на Рождество. Что такое Рождество, мы не знали, но елка была украшена чудесными игрушками, орехами, конфетами, цепями из бус и разноцветной бумаги – ничего подобного мы раньше не видели. Только один раз я и была в Люськином доме: у нас не принято было ходить по чужим домам. Мы, дети, играли вместе только на улице, у реки, в поле или ходили в лес за цветами или за ягодами. Люська была старше меня на год или на два и раньше пошла в школу. Вскоре она уехала в Москву, где жила и работала портнихой ее мама.

Года через четыре Люська снова приехала к бабушке. Некрасивая девочка, с веснушками на носу, была овеена каким-то московским, недоступным нам духом и, по нашим понятиям, была шикарно одета: в клетчатую юбку и кофточку с рюшиками. В нее сразу влюбился приятель брата – Юрка Завьялов. Однажды он взял лодку и пригласил Люсю кататься вечером по реке. Люська согласилась при условии, что я поеду с ними. Хотя мне и страшновато было, но я согласилась. И мы поплыли. Плыли и пели: «Мы на лодочке катались, золотистой – золотой. Не гребли, а целовались, не качай, брат, головой». Потом нас Юрка учил петь блатные песни:

*Позабыт, позаброшен, с молодых, юных лет,
Я остался сиротою, счастья, доли мне нет.*

Или:

*Гоп со смыком – это буду я,
Граждане, послушайте меня.
Глотка у меня здорова,
И реву я, как корова,
Граждане, послушайте меня.*

И еще:

*Ну чего ты пялишь зенки?
Не тебе, дуреха, знать!
Ты мою сестренку Варьку
Мне напомнила опять.*

Прибыли мы к берегу поздновато, и мне, как и следовало ожидать, влетело от мамы. Но этот вечер на быстрой, прозрачной, темной реке при лунном свете запомнился мне на всю жизнь. Вскоре Люська уехала в Москву и потерялась из виду.

Так пришли, прошли и ушли десятки, а может быть, и сотни знакомых, друзей, далеких и близких, родных и любимых людей, не забываемых, пока я жива и храню память о них.

Первомайские праздники отмечались в лесу маевкой. Горожане, празднично одетые, с семьями группами направлялись на лесную поляну, покрытую первыми цветами весны: шелково-пуховыми колокольчиками на короткой, толстой, мохнатой ножке и белыми подснежниками. Воздух пропитан запахом сосны, выросшей на песчаных холмах. Удивительно, но в эти дни всегда была теплая весенняя погода. Светило солнце, будущее казалось безоблачным; о нем и не думали. Настроение было праздничное, приподнятое. Отец надевал костюм с рубашкой-косовороткой, расшитой по воротнику и планке орнаментом из васильков. Рубашка надевалась навывпуск и была подпоясана поясом из шелкового витого шнура с кистями. Мама надевала свое нарядное, с вышивкой, шерстяное темно-синее платье. Нас одевали в белые матроски с синими воротниками, и все мы шли на маевку, неся в плетеной корзине еду. В лесу было многолюдно и весело: пели песни, плясали, кто-то выступал, говорил речи; а мы радостно на все это смотрели и предавались детским играм.

В конце 20-х годов несколько семей города для раскрепощения женщин от повседневных забот организовали кооперативную столовую. Пищу готовили поочередно, так что приходилось дежурить в столовой раза два-три в месяц. Женщины были очень довольны. Каждая дежурная старалась преподнести свое блюдо. Запомнились мне очень вкусные оладушки с вареньем из красной рябины. Но кооператив почему-то просуществовал недолго, то ли прогорел, то ли хозяйки не сумели договориться.

Родители частенько ходили по вечерам в кино, в театр или просто в гости, а нас оставляли с Пашей. Паша была шустрая худенькая женщина. Жила она с мужем-инвалидом, вернувшимся с русско-германской войны с Георгиевским крестом, но без ноги. Детей у них не было. Дом их стоял в деревне Пустошке, которая находилась почти в черте города, сразу за нашим Завеличьем. Дом у них был деревянный, рубленый, с чистой красной горницей и небольшой кухней с большой русской печью. Был еще и огород. Держала Паша в хозяйстве кур и поросенка. Так они и жили. К нам Паша привязалась и охотно просиживала с нами вечера, рассказывая сказки, прибаутки, часто пела нам и учила нас петь «Лучинушку»:

*То не ветер ветку клонит,
Не дубравушка шумит,
То мое, мое сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит.
Извела меня кручина,
Подколотная змея.
Догорай, гори моя лучинушка,
Догорю с тобой и я.*

Голос ее плакал и кручинился, и нам становилось очень грустно и жаль ее горемычную. Тогда Паша заводила свою любимую:

*Раз велел мне барин чаю черного сварить,
А я от роду не знаю, как проклятый чай варить.
Взял я перца, сала, соли...*

Паша нам рассказывала и просто о своем нелегком житье-бытье, бесхитростно, прямодушно и по-доброму.

Впервые нас оставили без присмотра вечером, когда брат пошел в школу. Свет мы погасили, чтобы зря не жечь керосин, но я никак не могла заснуть. Я лежала и смотрела на обои, и в неверном свете луны мне мерещились на стене стаи летящих черных птиц. Было жутко, но я об этом никому не сказала. Я боялась, что меня назовут трусихой и будут надо мной смеяться.

Напротив нашего дома, на правом берегу Великой, на площади стоял белый высокий собор с колокольной, увенчанный куполом с позолоченным крестом. Однажды нас оставили в очередной раз одних. Ночь, ни зги не видать, и вдруг из церкви начинают появляться огоньки. Количество огней все росло, они вытягивались в цепь, и эта цепь обвила церковь и двигалась непрерывно – это были свечи в руках молящихся. Мы же видели только огни и мятущиеся тени. Я смотрела и не могла оторвать глаз от этого удивительного, таинственного зрелища.

Зимы в Опочке были суровые. Морозы сковывали землю, укрывая ее белоснежной, искрящейся под солнцем шубой, а воды реки сковывали льды. И только на быстринах полыньи стояли почти всю зиму, окутанные облаком белого пара. В крещенские церковные праздники в ледяной купели, осененной огромным крестом священника, купались мужики, те, что похрабрее. Они раздевались до холщевых белых исподников и бросались в воду. В этом месте было в общем-то мелко, но холодно. Они тут же выскакивали и укрывались тулупами. Зрелище было любопытное, собиралось много народу.

В феврале, когда лед достигал наибольшей толщины, его кололи и складывали разноцветными – матово-голубыми или прозрачно-зеленоватыми – штабелями. На санях, запряженных ломовыми заиндевевшими лошадьми, отвозили на ледники. Летом на ледниках хранили мясо, рыбу и другие продукты. А еще мелкими льдинками обкладывали длинные жестяные банки с мороженым, которые мороженщик развозил на своей тачке. Мороженщик брал круглую металлическую формочку с подвижным дном, вкладывал в нее вафлю, ложечкой-черпаком накладывал разноцветные шарики мороженого и накрывал формочку второй вафлей – порция готова. Порции сливочного, шоколадного, фруктового мороженого продавались по 5, 10, 15 и 20 копеек, в зависимости от величины порции. На белых вафлях выдавлены были имена: Нина, Катя, Коля и другие. Мороженое было очень вкусное, мы его слизывали по краям, потом закусывали вафлями. Но это было летом.

Одна зимняя ярмарка запомнилась мне особенно. Как-то мы одновременно с братом болели свинкой и, сидя на кухонном столе у замерзшего окна в компрессах из ихтиоловой мази грязно-коричневого цвета с противным запахом, ждали маму с ярмарки. Окна были в морозных кружевах, и мы старались сделать в них дырочки своим горячим дыханием.

Мама пришла веселая, разрумившаяся от мороза, в пуховом белом платке. Принесла игрушки: свистульки – лошадки и козлики, китайские веера и фонарики из цветной бумаги. Веера складывались между двумя палочками-планочками. Их можно было по-всякому переиначивать, разгибая и сгибая палочки. А еще принесла мама пряники с сусальным золотом и помадкой сверху, разной формы и цвета. Пряники-лошадки, пряники-сердечки...

Ярмарки в Опочке были замечательные! Вся базарная площадь, Завеличье, мост и площадь перед церковью были запружены подводами, телегами, а зимой – санями. Визг поросят, мычанье коров, ржанье лошадей, шум толпы, смех, шутки, качели, карусели – все сливалось в радостный, многоголосый праздник.

Мы цеплялись к саням, очень хотелось прокатиться. Иногда попадался добрый хозяин – прокатит до моста, а другой – и вожжами огреет.

Однажды мама на ярмарке купила брусок масла, красиво оформленный, с каким-то витиеватым штампом. Внутри же оказался кусок мела. Мама, естественно, выдала все, что она думала об этих жуликах. Но делать было нечего – надо было быть осмотрительнее.

В детстве мы часто простужались и болели ангинами. Лечила нас наш домашний врач – Ольга Ниловна Телепнева. В любую погоду, в любое время дня и ночи, когда и тьма была непроглядная, и грязь непролазная, спешила она на мамин зов. Она приходила в своей старомодной длинной черной юбке, белой кофточке, в полупальто и скромной черной шляпке. Она заглядывала к нам в горло, ставила диагноз и обычно смазывала нам горло йодом с глицерином. Мы ужасно не любили эту процедуру, но терпели. Много лет спустя, в историческом очерке об Опочке прочитала я, что в годы Великой Отечественной войны Ольга Ниловна помогала партизанам медикаментами и укрывала раненых советских солдат. Это было для меня как весточка от родного человека из далекого детства.

После отъезда наших хозяев из Опочки сеновал-сарай перешел во владение жильцов. Часть сеновала досталась нашему семейству. В сарае держали дрова. Дрова заготавливали летом. Привозили их мужики на подводах, разгружали длинные березовые поленья. Иногда, к маминой досаде, попадались осина, сосна и ель, которые плохо горели. В зимнее время требовалось много дров для стояка и для русской печки. Березовые дрова горели весело. Кора покрывалась горящими завитками и потрескивала. Хуже всего было, если дрова были сырыми. Тогда мама плескала в них керосин и старательно дула на них, чтобы огонь разгорелся.

Но вернемся к нашему сараю-сеновалу. Он почти всегда был занят дровами или сеном. Но вот как-то летом дрова были почти все израсходованы, и пол сарая оказался вдруг, как в волшебной сказке, хранилищем кладов. Порывшись в свалывшейся, полусгнившей массе, состоящей из прелого сена, древесной коры, какого-то хлама, мы обнаружили необыкновенные вещи: черный стеклярусный лиф и другие вещи из бисера, большое количество всяких пуговиц и деревянную шкатулку.

Но самым «великим» нашим открытием был большой деревянный ящик, наполненный книгами. К этому времени мы уже научились читать (вероятно, это было в начале 30-х годов). Здесь я впервые познакомилась с баснями Крылова. Это была толстая книга в зеленом мраморном переплете. Книги «Антоний и Клеопатра» и «Куртизанка Сонника» мы прочитали залпом, но поняли, впрочем, немного. А вот басни Крылова я запомнила на всю жизнь. В этом же сарае жили наши куры, которые несли яйца и прятали их за балками под крышей.

На половине бывших хозяев поселилась семья инженера-строителя, приехавшего из Ленинграда. У него была очаровательная жена – Евгения Михайловна, дворянка по происхождению, образованная женщина, очень простая в обращении со всеми. Был у них сын Вовка, мой товарищ по играм. Когда Евгения Михайловна хотела сделать ему замечание, она обращалась к нему по-французски, что нас страшно сместило, а его смущало: он краснел, комично смотрел исподлобья и начинал пыхтеть.

Летом Евгения Михайловна в палисаднике готовила еду на примусе, часто жарила картошку. Нас очень удивляло, что эту картошку она нарезала толстыми кружками и обжаривала каждый кружок с двух сторон в большом количестве сливочного масла. Нам, вероятно, такое «чудо» было не по карману. Мама редко жарила картофель, чаще делала пюре, а если и жарила, то нарезала его тонкими ломтиками, наподобие чипсов, и жарила на подсолнечном масле. Любимой нашей едой был мелко нарезанный лук с постным маслом, куда мы макали только испеченный, еще горячий хлеб. А если была селедка с отварной картошкой, – это был великий пир.

Была у Вовки еще тетя Груша. Старенькая, с трясущейся седой головой, худенькая женщина, которая принимала йодные капли на молоке от склероза. Она постоянно ворчала,

считала нас невоспитанными детьми: мы не знали ни одного иностранного языка да еще любили поозоровать, пошуметь. Впрочем, вероятно, так оно и было.

Мне казалось, что Евгения Михайловна не любила своего мужа, но относилась к нему с большим уважением. Он был старше ее, молчаливый, замкнутый. С нами он никогда не разговаривал. В отсутствие мужа она всегда была веселой и общительной. Однажды он обходя стройку, упал с лесов и сломал позвоночник, его положили в больницу; и Евгения Михайловна очень волновалась за него, боялась, что он умрет. Она отважилась на гаданье. Я помню, как все соседи собрались во флигеле у Шишкиных. Мы, дети, тоже были там. Евгения Михайловна взяла тонкий прозрачный стакан, наполнила его водой, рядом поставила зажженную свечу. В стакан она опустила свое обручальное кольцо, мы все уставились на тень в кольце. Нам было интересно и жутко. Евгении Михайловне показалось, что она видит в кольце часовню и фигуру, закутанную в шаль. Она сочла это скверным предзнаменованием, но, тем не менее, муж ее стал поправляться, и вскоре они уехали в Ленинград.

В семь лет меня отдали учиться игре на рояле. Учила меня Анна Викентьевна Каминская. Это была пожилая маленькая женщина, со старомодной прической и пухленькими пальчиками. Больше всего мне досаждали бесконечные гаммы. Руки не желали слушаться, как того требовала учительница, и я безжалостно получала линейкой по пальцам. Вероятно, эта «методика обучения» отбила у меня всякую охоту к музыкальному образованию. Муж Анны Викентьевны преподавал в школе химию, он был моложе ее лет на 10–15. Она ухаживала за ним как за ребенком. Перед едой она давала ему фитин. Я понимала, что это какое-то лекарство, только не знала, от какой болезни. Потом я узнала, что это лекарство дается просто для аппетита. Я хорошо запомнила его белобрысую круглую голову с очками на носу.

Детей у них не было, была огромная рыжая кошка Фрина, любимица Анны Викентьевны. Она говорила: «Скажи «мясо», и кошка отвечала «Мяу-со», за что и получала горсть фарша. Ходила Фрина на улицу исключительно через окно, а возвращаясь, стучала в окно лапой и орала диким голосом «Мяу!». Ее холили и лелеяли, а меня били по рукам! Было больно и обидно. Для меня игра на рояле стала «принудиловкой». Проучилась-промучилась я три года. За это время я освоила скрипичный ключ. А вот басовый мне не давался. Анна Викентьевна ставила на рояль метроном, и я должна была играть в такт целые, половинки, четвертушки и восьмушки звуков, расположенные на первой, второй, третьей, четвертой и пятой линейках и между линейками. (Вероятно, было бы проще учить: до, ре, ми, фа, соль, ля, си.) Я должна была брать бемоли и диезы и играть, играть зимой и летом. Хуже всего было летом. Все ребята шли в лес или на речку, а я, как проклятая душа, должна была повторять противные гаммы.

А тут еще к Шишкиным приехала дачница Нина, молодая, веселая. Она обратила внимание, что мой брат обладает хорошим слухом, и родители начали учить и его. Он действительно оказался очень способным: быстро догнал и перегнал меня, играл по слуху и даже сочинил для Нины вальс:

*Нежные ласки, как мне вас жаль,
Кто не изведал тоску и печаль.
Вы меня покинули, от меня ушли,
Вы меня оставили на произвол судьбы.*

Мотив был нежный, ласковый. В то время мы с ним играли в четыре руки музыку к дуэту Полины и Лизы из «Пиковой дамы». Это было верхом моих достижений. Больше я учиться не пожелала, и в 1932 году мое музыкальное образование закончилось. Мое самолюбие было задето превосходством брата, к тому же учить двоих было накладно для семейного бюджета.

Глава 4

Годы 1928 – 1930. Школа. Первые учителя. НЭП. Шишкины. Дачники. Поездка в Ленинград

Ося поступил в школу в 1928 году, когда ему исполнилось семь лет, хотя в школу тогда принимали только с восьми. А произошло это очень курьезным образом. Мама решила готовить нас к школе и начала обучать азбуке: а, б, в, г, д и т. д. Я быстро выучила буквы, хотя и была на год младше. Брату эти ничего не говорящие буквы никак не давались. В прямом порядке еще назовет, а в обратном – никак. Мама ужасно расстраивалась и решила пойти к директору школы Серебрякову просить, чтобы сына приняли пораньше, так как она боялась, что он будет сидеть в каждом классе по два года, как явная бездарность. Так мой брат и попал в школу раньше времени. И пошел мой брат из класса в класс с оценками только «хорошо» и «отлично». Наверное, мама была неумелым учителем.

Первой учительницей брата была Александра Яковлевна Яковлева, из тех учителей, что сеяли «разумное, доброе, вечное». Она учила детей не только грамоте, но и любви к природе, внимательному отношению к людям, ко всему происходящему вокруг нас.

Я приходила к брату в класс, как к себе домой, в любое время, даже во время уроков. Приносила с собой пирожные, которые покупала в кондитерской в подвальчике. Пирожные были свежие, пышные и стоили всего 5 копеек. На перемене мы их съедали. Никогда Александра Яковлевна не выгоняла меня, напротив, сажала за парту, и я слушала ее рассказы, затаив дыхание. Она и привила мне желание знать как можно больше.

Однажды она повела свой класс на прогулку в поле. Была весна. Небо чистое, голубое, воздух прозрачен, настоян запахом прелой земли. На пашне шла лошадь, с трудом влача за собой деревянную соху, которая раздавливала комья серой земли. За лошадью, нажимая на соху, шел крестьянин – пахарь в серой домотканой рубахе и портах, обутый в онучи и лапти. Он брал семена из решета, висящего на перевязи через плечо, горстью и рассыпал вокруг себя. Увидев нас, он снял свою войлочную шапку и поклонился учительнице.

«Сколько ртов у тебя?» – спросила Александра Яковлевна. «Сам – семь, да все малые». Учительница объяснила нам, что пахотные земли, отобранные у помещика, который один владел землей до революции, раздали бедным, безземельным крестьянам по едокам: сколько ртов – столько и земли. По революционной справедливости.

В 1930 году я должна была пойти в школу и решила, что буду учиться только у Александры Яковлевны. Я уже ее любила и беззаветно верила каждому ее слову. Сама пришла записываться в первый класс. В те годы, да еще и в провинции, мы были весьма самостоятельными. Да и самой большой опасностью по дороге в школу был лихой извозчик да бездомные собаки.

Пришла я в нашу двухэтажную каменную школу – и прямо к Александре Яковлевне:

– Примите меня, пожалуйста, в Ваш класс.

– Не могу, дорогая, я ведь буду третий класс вести, а тебе надо в первый.

Я – в рев. Она погладила меня по голове и говорит: «Не плачь, я тебя к очень хорошей учительнице отведу, такой же доброй, как я». И отвела меня к столу, где сидела полная стриженная женщина, с румяным лицом и ласковыми глазами – Екатерина Николаевна.

У этой учительницы я проучилась три года. Она была действительно необыкновенным человеком: у нее была приемная дочь, черненькая стройная девушка восточного типа, с раскосыми глазами. Звали ее Дина. У нас она ассоциировалась с героиней фильма «Дина Дзадзу». Екатерина Николаевна все годы, пока я у нее училась, сокрушалась, что я пишу «как курица лапой». А недавно я прочитала в воспоминаниях Рины Зеленой, где она приводит

слова Бориса Заходера: «Пиши, хоть царапай, /как курица лапой,/ но все же царапай,/царапай, царапай».

Вот я и «царапаю», царапаю уже десятки лет, и нет мне покоя, пока я еще вижу и могу держать в руках перо...

Начиная с первого класса я стала выступать на сцене. Были в то время агитбригады – ездили по деревням и давали представления. В них была «Живая газета», когда несколько человек разыгрывали сценки в стихах на злобу дня: высмеивали кулаков, попов, бюрократов. Кто-то пел. Я читала стихи. В моем маленьком худеньком теле был сильный голос, и читала я с выражением.

Первое стихотворение, которое я читала, было посвящено Парижской коммуне. Это перевод с французского стихотворения, по-моему, Виктора Гюго. Я его и сейчас помню. Когда я начинала читать, в зале воцарялась мертвая тишина.

*На баррикаде, обагрённой
Невинной кровью парижан,
Был схвачен бледный, изнурённый
Ее защитник мальчик Жан.
стр1
И капитан, нахмуря брови, спросил:
«И ты в меня стрелял?»
Жан на вопрос его суровый ответил:
«Только не попал!»
стр1
«Добро», – и капитан небрежно,
Поставил мальчика вперед...
«Умри же, коммунары мятежный,
У стенки этой в свой черед».
стр1
И видит мальчик, как мелькают
При залпах в ружьях огоньки,
И падают, и умирают
И юноши, и старики.
стр1
Умрет и он, а мать просила
Его домой вернуться в пять.
Часы дала и запретила
На баррикаде ночевать.
стр1
Жан обратился к капитану:
«Позвольте мне часы отдать.
Живу я близко, у фонтана,
Одна минута – и назад».
стр1
«А, улизнуть решил, трусишка...
.....
Солдаты вслед захохотали.
стр1
Но смех мгновенно прекратился,
Когда у стенки мертвецов*

*Мой Жан вторично появился,
Сказал: «Стреляйте, я готов».*

С этим стихотворением меня и брала агитбригада под свое покровительство. Особенно заботилась обо мне одна девушка, в красном платочке с коротко стриженными черными волосами. Мама боялась отпускать меня по деревням, мне было всего восемь лет, но девушка каким-то образом ее уговаривала.

Впрочем, выступать я начала еще раньше. Первые представления мы устраивали во дворе. Главным образом, цирковые. Выступали на помосте. Кто-то из ребят был конферансье. Тогда очень любили конферанс. Конферансье должен был быть остроумным и веселым. Кто-то жонглировал тремя шариками пинг-понга, кто-то танцевал или показывал акробатические номера. Брат делал стойку и ходил на руках, выжимал стул, держа за одну ножку. Помню, как я сделала себе балетную пачку из гофрированной бумаги цвета «само».

Однажды я взгромоздилась брату на плечи и потеряла равновесие. Ударилась я грудью, да так, что потеряла сознание. Мама очень испугалась, но не растерялась, а облила меня холодной водой. На этом мои акробатические этюды кончились.

После отъезда Соколовских во флигеле поселилась большая и шумная семья Шишкиных: мать – Мария Павловна, старая барыня, три дочери и один сын. Марии Павловне было, как я теперь представляю, за пятьдесят. На стене в гостиной висел большой двойной портрет: Мария Павловна в молодости, в длинном платье с кружевным воротником, какие носили в начале XX века, и ее муж, отец детей, совсем молодой человек. Он и был моложе Марии Павловны лет на пятнадцать. Он жил и служил смотрителем в Пушкинских горах. Там у него была вторая семья. Он иногда приезжал в Опочку с некрасивой и не очень молодой темной женщиной и маленьким сыном. Девчонки Шишкины годились своему отцу в сестры.

Девочки были очень разные: почти взрослая Клава и две младшие – Нина и Рая. Младшие были на два-три года старше нас. Нина была самой красивой и заводной, невероятной фантазеркой. Все девочки очень хорошо рисовали. Говорили, что они дальние родственники знаменитого художника Шишкина. Видно, талант, передается генетически.

Ежегодно Шишкины сдавали одну комнату дачникам. В течение нескольких лет к ним приезжала одна и та же семья: мать – немолодая, хрупкая женщина и две дочери – Леля и Лида, с совершенно белым пушистым шпирцем. Лида была очень красивая жгучая брюнетка с каскадом вьющихся волос, похожая на итальянку. Ей было лет 13 – 14. Леле было лет 20 – 25. Училась она в консерватории и прекрасно пела. Пела она романсы, а брат ей аккомпанировал. Чаще других песен она пела:

*Дивный терем стоит,
И хором много в нем,
Но светлее из всех
Есть хорома одна.*

А также:

*К нам юноша пришел в село,
Кто он, отколь, не знаю.
Но все меня к нему влекло,
К нему влекло,
Все мне твердило – знаю.*

Музичирование в те далекие вечера заменяло радио и телевизор. В те времена люди и подумать не могли, что когда-нибудь появится «волшебный ящик», в который все будут смотреть, уставившись в одну точку, в одиночку и семьями, и что этот предмет станет средством не единения людей, а их все большего разобщения. Но это я уже отвлеклась.

Летом, в белые ночи, когда кажется, что теплое молоко разлито в воздухе, мы вытаскивали из заветного сундука Марии Павловны старинные платья с кружевами и рюшами, длинные юбки и шляпки со страусовыми перьями. Все это мы надевали на себя, устраивали маскарад и отправлялись в таком виде гулять на мост. Шутки, смех, беспричинная радость.

Кругом – тучи комаров. В ореоле света, под фонарем у моста кружатся серебристые мотыльки, летят на огонь и падают, падают... Мы поем: «Ночка темна, комарики летают, Ося с Лидой под ручки гуляют!» Хотя «под ручки» никто не гуляет. Мы еще застенчивы и смелы только на словах.

Гурьбой мы ходили в лес через клемешинские поля. Вдоль дороги – канава, заросшая травой, большими шапками белых цветов на полых стволах. Под мелким кустарником – заросли земляники. Собираем пригоршнями и сыпем в рот ароматные, ни с чем не сравнимые ягоды. На поле растет морковь, брюква. Вырываем, обтираем об траву и грызем. Не беда, если и заболит живот – мама вылечит рисовым отваром и черничным киселем.

На лесных полянах, где пасутся коровы, особенно много земляники. Ведь почва удобрена! Теперь земляника повывелась. Перевели скот на «культурные пастбища». Теперь коровы пекутся на солнцепеке – ни тебе деревца, ни тебе кустика, однообразие трав: однолетние или многолетние. А на естественных лугах – душистое разнотравье, и молоко было душистое, целебное, вкусное.

Но вот и лес – сумрак, прохлада елового бора, собираем чернику. Проходим через бор и поднимаемся на ярко-желтый песчаный берег излучины реки Великой. Оттуда скатываемся вниз, под обрыв, раздеваемся и забираемся в реку. Места незнакомые. Быстрина. Страшно – далеко не заплываем. Потом весело бежим домой с плетеными корзиночками с земляникой и черникой. Мама наливает нам молока, и мы пьем его со своими ягодами. На рынке ягод пропасть. стакан земляники или черники стоит 10 копеек.

К осени появляются грибы: боровики, подосиновики, лисички. Мы их приносим из леса, а мама чистит и готовит. Особенно вкусны грибы, жаренные с картошкой на подсолнечном масле. Из боровиков мама варит суп и заправляет его сметаной.

Больше всего мы любим ходить на Вал, где в выходные дни всегда людно, весело, играет духовой оркестр и на открытой сцене выступают приезжие артисты. Здесь впервые мы слышали гавайскую гитару и саксофон, мяуканью которого мы пытались подражать, зажимая пальцами нос и посылая в него звуки.

Лето пролетало быстро. Снова пора было идти в школу, а дачники уезжали в Ленинград. В слове Ленинград для нас было что-то необыкновенное, загадочное, притягательное. Мы мечтали побывать в Ленинграде.

И вот однажды, когда мне было лет шесть-семь, отец взял меня с собой в Ленинград. Вначале мы поехали в Псков. Ехали в каком-то полутемном плацкартном вагоне, и отец накормил меня пышным, сладким бисквитом. Я объелась и отравилась. Мне было очень плохо, и отец уже был не рад, что взял меня с собой.

В Пскове мы остановились на подворье древнего белокаменного монастыря. Когда отец уходил по своим банковским делам и оставлял меня одну, мне было страшновато. Наконец мы приехали в Ленинград и остановились у тети Лены – папиной сестры. Тетя Лена показалась мне очень красивой: гладковолосая, с почти правильными чертами лица, с серо-голубыми глазами. Жила она с мужем, дядей Робертом, и двумя детьми: Борей, примерно моего возраста, и Осей – Оскаром, которому тогда было три года. Ося был необыкновенно

красивым ребенком, с длинными кудрями, черными глазами, опущенными длинными черными ресницами. Мальчик с картинки: в белой матросочке с синим воротником.

Жили они в какой-то странной квартире. Окно комнаты выходило на стеклянную крышу макаронной фабрики. Вскоре после нашего отъезда в этой квартире разыгралась трагедия. В гости к тете пришли знакомые с дочкой. Пока взрослые веселились в квартире, дети выскочили через окно на стеклянную крышу, чтобы там поиграть. Девочка провалилась в цех и погибла. Квартиру сменили, но осталась гнетущая память.

Я была совсем маленькая, и Ленинград я тогда не увидела. В следующий раз я увидела его в восемнадцать лет, когда поступила в университет. Но это уже другая глава моей жизни.

Глава 5

Годы 1931 – 1933. Школьные вечера. Учителя. Приютские дети. Розыгрыш. Голод на Украине. Приезд родственников. Мамин хлеб. Клад. Торгсин. Болезнь отца

Не знаю почему, наш класс все время переводили из одного здания в другое. В третьем классе мы учились на Завеличье. Ходить было близко. Запомнились мне уроки ботаники. Учительница объясняла нам, как дышат и питаются растения, что в растениях есть удивительные хлорофилловые зерна, которые и поглощают из воздуха углекислый газ и придают листьям зеленый цвет; что есть такие растения, как клевер, которые собирают в своей корневой системе азот и отдают его почве, обогащая ее питательными веществами. А еще она рассказывала нам, как из зерен ржи делают солод для кваса.

В третьем классе я подружилась с Катей Богдановой. Это была здоровая, веселая девочка. Катин отец умер или погиб вскоре после ее рождения. Наши дома стояли близко. Ее дом был белым, каменным, двухэтажным. Там жило много людей и две маленькие черненькие собачонки, обыкновенные дворняжки. Когда появился у нас во дворе ленинградский белый шпиц, состоялось собачье знакомство. И вскоре у одной черненькой собачонки родились разные щенята. Одного щенка – совершенно белого, с черными пуговками глаз, – мне разрешили взять. Но я опять забегаю вперед.

В нашем классе учились детдомовские дети: две девочки – Зина и Тамара и несколько мальчиков. Все они были одеты в одинаковые грязно-серые фланелевые ватники и выделялись на общем фоне. Зина была некрасивая высокая девочка, почему-то всегда повязанная серым платком. Тамара была небольшая, худенькая, в любое время года ходила в вязаной шапочке. У Зины где-то была многодетная мать. Тамара была сиротой. В их присутствии я испытывала какую-то неловкость за свое благополучие, и вместе с тем я их побаивалась. Детдомовцев все боялись, хотя ничего плохого я о них не слышала. Держались они независимо, насмешливо: «Да, мы не такие, как все, а поэтому нам все дозволено!» По дороге из школы я старалась как можно скорее проскочить мимо приютского дома.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.